
К 270-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГАВРИЛЫ РОМАНОВИЧА ДЕРЖАВИНА (1743 — 1816)

От редакции: 14 июля 2013 года исполнилось 270 лет со дня рождения русского общественного деятеля, губернатора Олонецкой губернии (г. Петрозаводск, Карелия) и министра правительства Российской империи при Екатерине Второй, выдающегося поэта и представителя русского классицизма Гаврилы Романовича Державина (1743 — 1816). Все мы со школьных лет помним строки А. С. Пушкина: «Старик Державин нас заметил и, в гроб сходя, благословил». Это благословение в полной мере ощущает и наш журнал с орденом Державина на обложке. Редакция, редакция, а главное — авторы в своей работе и творчестве стремятся быть достойными имени выдающегося поэта и деятеля русской культуры.



В определенном смысле Державин, восприняв русский классицизм, особенно в части поэзии, идущий от Ломоносова и поэтов первой половины восемнадцатого века, максимально развил его и тем самым подготовил эпоху Пушкина и Жуковского, начиная с которых русская литература приобрела свое сугубое национальное лицо, создав мировой феномен русской литературы. Ниже мы воспроизводим лучшие стихотворения Державина и главу из биографической книги «Державин» выдающегося русского поэта Владислава Фелициановича Ходасевича: лучше поэта о другом поэте никто не напишет!

ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ Г. Р. ДЕРЖАВИНА

ЧИТАЛАГАЙСКИЕ ОДЫ

1. Ода на ласкательство

1.

Какое священное поревание, кое божество меня одушевляет и коль сильнейший огонь разжигает мои мысли? Прииди ко мне, о Муза! да паки тобой приму я лиру и последую твоим красотам. Поборствуй мне, добльственный Алкид, ты, которого бесстрашная бодрость низлагала ужаснейших чудовищ! В подобие тебе, яко отмститель вселенной, еще с опаснейшим чудовищем и я долженствую братися.

2.

Вихри, разящие жестокостию своєю корабли о камень; моря, покрытые в кораблекрушение тысящами дерзновенных мореходцев; ветры, творящие тлетворным своим дыханием из земли опустошенной гнусное позорище Атропы,— не так страшны, как стрелы ласкательства, которые вредят сердца героев.

3.

Нравное ласкательство есть чадо собственного своего прибитка. Притворство, воспитавшее оное, даровало ему убранство добродетелей. Оно, приседа непрестанно при подножиях трона, фимиамом тщеты окружает оный и упоевает им мужей и царей великих. Личиной учтивости прикрывается пресмыкающаяся подлость лживых его потаканий.

4.

Тако клубящаяся змия, лежащая сокровенно во злаке, приуклоняет кичливую главу свою пред безопасным Африканцем. Она ползет, дабы напасть, и вред желающей угрызть несется под сеннолиствием и под цветами, или також неосторожного путника, вместо истинного света, прельщают огни блудящие мгновенным своим блистанием.

5.

Коварный льстец скрывает под обманчивую сладостию своих безпрестанных хвал наивреднейший яд. Уста его лживы и обманчивы; язык его стрела изощренно-убивственная, внезапно прилетающая, попадающая и пронзающая, подобно яко лютое пение Сирен с удовольствием смерть приносит.

6.

Небо! какое преобращение делает из трости кедр, из терния розу, из скнипа Минотавра! Мевий тотчас сделался Виргилием, Терсит явился соперник Ахиллесов, и все стало одно с другим смешанно. Государи! научайтесь познавать ласкательство: оно есть то, котораго обожения пороки ваши творят добродетелями.

7.

Часто его низкость благоговет пред отвращения достойным тираном и, славословя его мерзости; продает за дорогую цену свое ему благоухание. Высоковыйное счастье, измена и благополучная дерзость находят себе почитателей. Ежели бы Картуша украсила корона, или Катилина был на престоле, то не имели ли б и они своих ласкателей?

8.

Когда разгоряченная кровь моя, из жил в жилы стремящаяся, воспламеняется и скоропостижный огонь приносит биющемуся моему сердцу; когда потемненный мой разум уже оставляет меня моему беснованию: вотще тогда бесстыдный льстец обманчивым своим красноречием будет выхвалять и цвет лица моего и совершенство моего здравия.

9.

Вместо того, чтоб скарредное ласкательство благообразило наши пороки, то искажает сие преступное богопочтение у витязей славу. Люди могут нас хвалить или хулить; но мы остаемся таковы, каковы есмы: немощны или здравы, откровенны или скрытны. Нет, не витийство человек, но глас совести моей одобряет мои добродетели.

10.

Людовик, который потряс землю, которого руки сильно ужасалися, был очень велик на войне, но весьма мал на театре. Все знаки чести, посвященные государями собственной их памяти, делают триумфы их ненавистными, и я не познаю уже гордо-го разорителя Вавилона на его престоле, когда он велел себя нареци сыном божиим.

11.

Восстаните от упиения вашего, государи, князи, мудрецы и герои, и победите слабость вашу, владычественные лавры ваши делающую поблекшими. Воззрите на море

заблуждения, в которое из суеты самолюбие ваше вас низвергает. Мужайтесь, бодрствуйте против ласкателей и разбейте неверное зеркало, сокрывшее пред вами правду.

12.

О ясноблещущая истина, дочь бессмертная неба! снесися к сим местам из лучезарного твоего жилища. Свет твое наследие: рассыпь туманные облака, чем гордость помрачает наш разум; да пройдет она яко мгла густая, исчезающая от тихих лучей грядущего на горизонт утреннего солнца.

13.

Вельможи, последующие примерам Циня и Морнея, вы единственно заслуживаете храм, посвященный именам великим. Ваши тонкие укоризны при напоминовении умеют нравиться, и вы суть одни друзья справедливые. Ласкатели! не употребляйте теперь более вашей лести, не думайте, чтоб вы меня обмануть могли. Я познаю уже ваши неприязненные стрелы.

14.

Цезарион, друг истинный и нежнейший нежели Пирид! в тебе нахожу я пример из первых всех добродетелей. Обличай дерзновенною дружбою твоею безослабленно мои заблуждения и пороки. Так очищает и разделяет золото в горниле огонь от прочих низких металлов.

VI. Ода на знатность

Не той здесь пышности одежд,
Царей и кукол что равняет,
Наружным видом от невежд
Что имя знати получает,
Я строю гусли и тимпан;
Не ты, сидящий за кристалом
В кивоте, блещущий металлом,
Почтен здесь будешь мной, болван!
На стогн поставлен, на позор,
Кумир безумну чернь прельщает;
Но чей в него проникнет взор,
Кроме пустот не ощущает.
Се образ ложных молвы,
Се образ грязи позлащенной!
Внемлите, князи всей вселенной:
Статуи, без достоинств, вы!
При блюде в пиршестве златом
Калигула, быть мнимый богом,
Не равен ли с своим скотом?
И ты, вельможа, в блеске многом
Не так ли твой как пышен цуг?
Не только ль славен ты кудрями,
Всяк день роскошными столами
И множеством нарядных слуг?
Творящ в Ареопаге суд,
Под кровом злата и виссона,
Фемиды свято место тут:
Беги из-за зеркальна трона,
Кол ты неправеден, Катон!

На что и правосудье в свете,
Когда есть стольник в той примете,
Что стал другой Шемякин он?
К чему способности и ум,
Коль дух наполнен весь коварства?
К чему послужит вождя шум,
Когда не щит он государства?
Емелька с Катилиной — змей;
Разбойник, распренник, грабитель
И царь, невинных утеснитель,—
Равно вселенной всей злодей.
В триумфе, в славе, под венцом,
Герой, Помпея победитель,
Июлий жаждущим мечем
Не стал ли Рима обагритель?
Славней Екатериной быть:
Престав быть чуждым страх границам,
Велела слезы стерть вдовицам,
Блаженство наше возвратить.
О вы, верховныя главы,
Сыны от крови светлородной!
Тогда достойны знати вы,
Когда душою благородной,
Талантом, знаньем и умом
Примеры обществу даете,
И пользу оному ведете
Пером, мечем, трудом, жезлом.
Дворянства взводит на степень
Заслуга, честь и добродетель;
Не гербы предков, блеску тень,
Дворянства истинна содетель:
Я князь, коль мой сияет дух;
Владелец, коль страстьми владею;
Болярин, коль за всех болею
И всем усерден для услуг.
Пред нами древностью своей,
О князи мира, не гордитесь:
Каков Евгений, Тюрень, мужей
Представьте, ими возноситесь,
Но в росском множестве дворян
Герои славнее бывали
И ныне царство подпирали;
Меж прочих сей в пример вам дан:
Отечеству Румянцов друг
И прямо света хвал достоин.
Велик, что в нем геройский дух,
Но боле, что Восток спокоен
И Север стал его рукой.
Когда уста не прославляют,
На то лишь только умолкают,
Чтоб мирной чтить его душой.

К ЛИРЕ

Звонкоприятная лира!
В древни златые дни мира
Сладкою силой твоей
Ты и богов и царей,
Ты и народы пленяла.

Глас тихоструйный твой, звоны,
Сердце прельщающи тоны
С дебрей, вертепов, степей
Птиц созывали, зверей,
Холмы и дубы склоняли.

Ныне железные ль веки?
Тверже ль кремней человеки?
Сами не знаясь с тобой,
Свет не пленяют игрой,
Чужды красот доброгласья.

Доблестью чужды пленяться,
К злату, к серебру лишь стремятся,
Помнят себя лишь одних;
Слезы не трогают их,
Вопли сердец не доходят.

Души все льда холоднея.
В ком же я вижу Орфея?
Кто Аристон сей молодой?
Нежен лицом и душой,
Нравов благих преисполнен?

Кто сей любитель согласья?
Скрытый зиждитель ли счастья?
Скромный смиритель ли злых?
Дней гражданин золотых,
Истый любимец Астреи!

БОГ

О ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества,
Теченьем времени превечный,
Без лиц, в трех лицах божества!
Дух всюду сущий и единый,
Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто все собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы называем: бог.

Измерить океан глубокий,
Сочесть пески, лучи планет
Хотя и мог бы ум высокий,—
Тебе числа и меры нет!
Не могут духи просвещенны,
От света твоего рожденны,
Исследовать судеб твоих:
Лишь мысль к тебе взнестись дерзает,
В твоём величьи исчезает,
Как в вечности прошедший миг.

Хаоса бытность довременну
Из бездн ты вечности воззвал,
А вечность, прежде век рожденну,
В себе самом ты основал:
Себя собою составляя,
Собою из себя сияя,
Ты свет, откуда свет истек.
Создавай все единым словом,
В твореньи простираясь новым,
Ты был, ты есть, ты будешь ввек!

Ты цепь существ в себе вмещаешь,
Ее содержишь и живишь;
Конец с началом сопрягаешь
И смертью живот даришь.
Как искры сыплются, стремятся,
Так солнца от тебя рождаются;
Как в мразный, ясный день зимой
Пылинки инея сверкают,
Вратятся, зыблются, сияют,
Так звезды в безднах под тобой.

Светил возженных миллионы
В неизмеримости текут,
Твои они творят законы,
Лучи животворящи льют.
Но огненны сии лампады,
Иль рдяных кристалей громады,
Иль волн златых кипящий сонм,
Или горящие эфиры,
Иль вкупе все светящи миры —
Перед тобой — как ночь пред днем.

Как капля, в море опущенна,
Вся твердь перед тобой сия.
Но что мной зримая вселенна?
И что перед тобою я?
В воздушном океане оном,
Миры умножа миллионом

Стократ других миров,— и то,
Когда дерзну сравнить с тобою,
Лишь будет точкою одною;
А я перед тобой — ничто.

Ничто! — Но ты во мне сияешь
Величием твоих доброт;
Во мне себя изображаешь,
Как солнце в малой капле вод.
Ничто! — Но жизнь я ощущаю,
Несытым некаким летаю
Всегда пареньем в высоты;
Тебя душа моя быть чаёт,
Вникает, мыслит, рассуждает:
Я есмь — конечно, есть и ты!

Ты есть! — природы чин вещает.
Гласит мое мне сердце то,
Меня мой разум уверяет,
Ты есть — и я уж не ничто!
Частица целой я вселенной,
Поставлен, мнится мне, в почтенной
Средине естества я той,
Где кончил тварей ты телесных,
Где начал ты духов небесных
И цепь существ связал всех мной.

Я связь миров, повсюду сущих,
Я крайня степень вещества;
Я средоточие живущих,
Черта начальна божества;
Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю,
Я царь — я раб — я червь — я бог!
Но, будучи я столь чудесен,
Отколе произошел? — безвестен;
А сам собой я быть не мог.

Твое созданье я, создатель!
Твоей премудрости я тварь,
Источник жизни, благ податель,
Душа души моей и царь!
Твоей то правде нужно было,
Чтоб смертну бездну преходило
Мое бессмертно бытие;
Чтоб дух мой в смертность облачился
И чтоб чрез смерть я возвратился,
Отец! — в бессмертие твое.

Неизъяснимый, непостижный!
Я знаю, что души моей

Воображении бессильны
И тени начертать твоей;
Но если славословить должно,
То слабым смертным невозможно
Тебя ничем иным почтить,
Как им к тебе лишь возвышаться,
В безмерной разности теряться
И благодарны слезы лить.

БЕССМЕРТИЕ ДУШИ

Умолкни, чернь непросвещенна,
Слепые света мудрецы!
Небесна истина, священна!
Твою мне тайну ты прорцы.
Вещай: я буду ли жить вечно?
Бессмертна ли душа моя?
Се слово мне гремит предвечно:
Жив Бог! — Жива душа твоя!

Жива душа моя! и вечно
Она жить будет без конца;
Сиянье длится беспресечно,
Текуще света от Отца.
От лучезарной единицы,
В ком всех существ вратится круг,
Какие ни текут частицы,
Все живы, вечны: — вечен дух.

Дух тонкий, мудрый, сильный, сущий
В единый миг и там, и здесь,
Быстрее молнии текущий
Всегда, везде и вкупе весь,
Неосязаемый, незримый,
В желаньи, в памяти, в уме
Непостижимо содержимый,
Живущий внутри меня и вне.

Дух, чувствовать, внимать способный,
Все знать, судить и заключать;
Как легкий прах, так мир огромный
Вкруг мерить, весить, исчислять;
Ревущи отвращать перуны,
Чрез бездны преплывать морей,
Сквозь своды воздуха лазурны
Свет черпать солнечных лучей;

Могущий время скоротечность,
Прошедше с будущим вязать;
Воображать блаженство, вечность,

И с мертвыми совет держать;
Пленяться истин красотой,
Надеясь бессмертным быть:
Сей дух возможет ли косою
Пресечься смерти и не жить?

Как можно, чтобы Царь всемирный,
Господь стихий и вещества —
Сей дух, сей ум, сей огонь эфирный,
Сей истый образ Божества —
Являлся с славою такою,
Чтоб только миг в сем свете жить,
Потом покрылся б вечной тьмою?
Нет, нет! — сего не может быть.

Не может быть, чтоб с плотью тленной,
Не чувствуя нетленных сил,
Противу смерти разъяренной
В сраженье воин выходил;
Чтоб властью Царь не ослеплялся,
Судья против даров стоял,
И человек с страстями сражался,
Когда бы дух не укреплял.

Сей дух в Пророках предвещает,
Парит в Пиитах в высоту,
В Витиях сонмы убеждает,
С народов гонит слепоту;
Сей дух и в узах не боится
Тиранам правду говорить:
Чего бессмертному страшиться?
Он будет и за гробом жить.

Премудрость вечная и сила,
Во знаменье чудес своих,
В персть земну душу, дух вложила,
И так во мне связала их,
Что сделались они причастны
Друг друга свойств и естества:
В сей водворился мир прекрасный
Бессмертный образ Божества!

Бессмертен я! — и уверяет
Меня в том даже самый сон;
Мои он чувства усыпляет,
Но действует душа и в нем;
Оставя неподвижно тело,
Лежащее в моем одре,
Он свой путь совершает смело,
В стихийной пролетая пре.

Сравним ли и прошедши годы
С исчезнувшим, минувшим сном:
Не все ли виды нам природы
Лишь бывших мечт явятся сонм?
Когда ж оспорить то не можно,
Чтоб в прошлом време не жил я:
По смертном сне так непреложно
Жить будет и душа моя.

Как тьма есть света отлученье:
Так отлученье жизни, смерть.
Но коль лучей, во удаленье,
Умершими нельзя почесть:
Так и души, отшедшей тела,
Она жива,— как жив и свет;
Превыше тленного предела
В своем источнике живет.

Я здесь живу,— но в целом мире
Крылата мысль моя парит;
Я здесь умру,— но и в эфире
Мой глас по смерти возгремит.
О! естли б стихотворство знало
Брать краску солнечных лучей,
Как ночью бы луна, сияло
Бессмертие души моей.

Но если нет души бессмертной:
Почто ж живу в сем свете я?
Что в добродетели мне тщетной,
Когда умрет душа моя?
Мне лучше, лучше быть злодеем,
Попрять закон, низвергнуть власть,
Когда по смерти мы имеем
И злой и добрый равну часть.

Ах, нет! — коль плоть разрушась тленна
Мертвила б наш и дух с собой,
Давно бы потряслась вселенна,
Земля покрылась кровью, мглой;
Упали б троны, царства, грады
И все погубло б зол в борьбе:
Но дух бессмертный ждет награды
От правосудия себе.

Дела и сами наши страсти,
Бессмертья знаки наших душ.
Богатств алкаем, славы, власти;
Но, все их получа, мы в ту ж
Минуту вновь — и близ могилы —

Не престаем еще желать;
Так мыслей простираем крылы,
Как будто б ввек не умирать.

Наш прах слезами оросится,
Гроб скоро мохом зарастет:
Но огонь от праха в том родится,
Надгробну надпись кто прочтет;
Блеснет,— и вновь под небесами
Начнет свой феникс новый круг;
Все движется, живет делами,
Душа бессмертна, мысль и дух.

Как серный пар прикосновеньем
Вмиг возгорается огня,
Подобно мысли сообщеньем
Возможно вдруг возжечь меня;
Вослед же моему примеру
Пойдет отважно и другой:
Так дел и мыслей атмосферу
Мы простираем за собой!

И всяко семя, роду сродно
Как своему приносит плод:
Так всяка мысль себе подобно
Деянье за собой ведет.
Благие в мире духи, злые
Суть вечны чада сих семян;
От них те свет, а тьму другие,
В себя приемлют, жизнь, иль тлен.

Бываю весел и спокоен,
Когда я сотворю добро;
Бываю скучен и расстроен,
Когда соделаю я зло:
Отколь же радость чувств такая?
Отколь борьба и перевес?
Не то ль, что плоть есть персть земная,
А дух — влияние небес?

Отколе, чувств но насыщенье,
Объемлет душу пустота?
Не оттого ль, что наслажденье
Для ней благ здешних суета?
Что есть для нас другой мир краше,
Есть вечных радостей чертог?
Бессмертие стихия наша,
Покой и верьх желаний — Бог!

Болезнью изнуренна смертной
Зрю мужа праведна в одре,

Покрытого уж тенью мертвой;
Но при возблещущей заре
Над ним прекрасной, вечной жизни
Горе он взор возводит вдруг,
Спеша в объятие отчизны,
С улыбкой испускает дух.

Как червь, оставя паутину
И в бабочке взяв новый вид,
В лазурну воздуха равнину
На крыльях блещущих летит,
В прекрасном веселясь убранстве,
С цветов садится на цветы:
Так и душа, небес в пространстве,
Не будешь ли бессмертна ты?

О нет! — бессмертие прямое —
В едином Боге вечно жить,
Покой и счастье святое
В его блаженном свете чтить.
О радость! — О восторг любезный!
Сияй, надежда, луч лия,
Да на краю воскликну бездны:
Жив Бог! — Жива душа моя!

ПАМЯТНИК

Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный,
Металлов тверже он и выше пирамид;
Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный,
И времени полет его не сокрушит.

Так! — весь я не умру, но часть меня большая,
От тлена убежав, по смерти станет жить,
И слава возрастет моя, не увядая,
Доколь славянов род вселенна будет чтить.

Слух пройдет обо мне от Белых вод до Черных,
Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал;
Всяк будет помнить то в народах неисчетных,
Как из безвестности я тем известен стал,

Что первый я дерзнул в забавном русском слоге
О добродетелях Фелицы возгласить,
В сердечной простоте беседовать о боге
И истину царям с улыбкой говорить.

О муза! возгордись заслугой справедливой,
И презрит кто тебя, сама тех презирай;
Непринужденною рукой неторопливой
Чело твое зарей бессмертия венчай.

ВЛАСТИТЕЛЯМ И СУДИЯМ

Восстал всевышний бог, да судит
Земных богов во сонме их;
Доколе, рек, доколь вам будет
Щадить неправедных и злых?

Ваш долг есть: сохранять законы,
На лица сильных не взирать,
Без помощи, без обороны
Сирот и вдов не оставлять.

Ваш долг: спасать от бед невинных,
Несчастливым подать покров;
От сильных защищать бессильных,
Исторгнуть бедных из оков.

Не внемлют! видят — и не знают!
Покрыты мздою очеса:
Злодействы землю потрясают,
Неправда зыблет небеса.

Цари! Я мнил, вы боги властны,
Никто над вами не судья,
Но вы, как я подобно, страстны,
И так же смертны, как и я.

И вы подобно так падете,
Как с древ увядший лист падет!
И вы подобно так умрете,
Как ваш последний раб умрет!

Воскресни, боже! боже правых!
И их молению внемли:
Приди, суди, карай лукавых,
И будь един царем земли!

ЖИЗНЬ ЗВАНСКАЯ

*Energie ist das oberste Gesetz der Dichtkunst,
sie malet also nie wertm"assig*

Собой не может быть никто.

Я без воззваний жил во Званке,
где звонки соловьи поют.
Приблудной Музе-оборванке
во флигеле я дал приют.
Она на пяльцах вышивала
апостолов, орлов и львов,

и Дашенька не выживала
из флигеля мою любовь.
Ни в чем пииту не переча,
оне ложились на кровать.
Любил обеих он, так неча
обеим было ревновать.
И он не чаял в них измены,
ниже волнения молвы.
Сколь верны Росския Камены!
И жены тоже таковы.

Да что пиит! (Будь он неладен!)
Висит промежду перекладин!
Но невозможно жить без жертв.
Воистину тот жив, кто гладен,
кто сыт да гладок — полумертв.
Покой мой дряхлый мне отраден,
и нет на мне чертовских черт.
И если все еще я жаден,
так вот уж не до райских гадин.

Ужели жил я долго вскую
на животрепетном краю,
очами глядя волховскую
всегда переменную струю?
А дура Муза говорила
на перепутии стихий:
«Люблю тебя! Крути, Гаврила,
и перемальвай стихи!»

Но так ли глупы те чинуши,
которым вечность суждена,
что прозакладывают души
под милости и ордена?
А что им крикнуть (не «тубо» же),
сим комнатным и гончим псам?
На них управы нету, Боже!
О том Ты ведаешь и Сам.

Но Званка, Званка, крепостная
моя красавица со мной!
И доживаю допоздна я
хозяйски жизнью запасной.
Ломаю понемногу время,
в отставку выгнав целый век.
Сижу во Званке, как в гареме,
я, православный человек.

По осени брожу по ржавой,
когда дожди меня поят,
и я Российской державой,

как бабой доброю, объят.
Шагаю по стерне шершавой,
хлебаю живописны щи...
А что там слышно за Варшавой?
Европа ропщет? Ну, ропщи!

Живу во Званке я под старость.
Приди, отец архимандрит,
и зри, как она мудрит,
ввергаясь и в покой и в ярость!
Займи очей моих ревнивых,
иди по строгой борозде
и зри, как блещут зори в нивах
и стелят шелком по воде!
Внемли же стук колес и гумен,
и песнь, что бьет ключом из дев!
И за меня молись, игумен,
молебн, яко длань, воздев!

Я в иноческий чин не лезу,
и все мое еще при мне.
Да уподоблюсь я железу
и звездному огню в кремне!

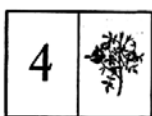
Устрою нынче я смотрины
для полнотелой осетрины.
Приди же, отче, а на нас
умильно взглянет ананас.
На должно тут же сядет место
и белорыбица-невеста,
преображенная в балык.
Резвятся крохотны пороки,
когда, еще слагая строки,
пиит уже не вяжет лык.

Да будешь, Боже, Ты преславлен
во всех житейских чудесах!
Я, росс и Гавриил Державин,
о сем писах, еже писах.



Владислав Ходасевич

ДЕРЖАВИН*



Это была, пожалуй, самая веселая пора екатерининского царствования. Минувшие войны были победоносны, значение России возросло, осыпанное милостями дворянство приходило в себя после ужасов пугачевщины; даже в царской семье, казалось, расцветал мир: овдовевший великий князь вступил в новый брак, и вторая супруга на время сблизила его с матерью. Двор и Петербург жили занятой и кипучей жизнью, в которой великолепие мешалось с убожеством, изысканность с грубостью. Шестерка лошадей насилу вытаскивала золоченую карету из уличной грязи; фрейлины разыгрывали пасторали на эрмитажных собраниях — случалось, что после того их секли; вельможи собирали картины, бронзу, фарфор, отвешивали друг другу версальские поклоны и обменивались оплеухами; императрица переписывалась с Гриммом; Митрофан Простаков не хотел учиться, хотел жениться; вист, фараон и макао процветали везде — от дворца до лачуги.

Полученные земли Державин заложил в банке; это не обеспечивало его будущности, но вместе с карточной игрой давало возможность существовать пристойно в ожидании лучшего. Найти службу значило прежде всего найти приятелей. Державин стал возобновлять былые знакомства и искать новых. Служба должна была быть штатская: мундиры вокруг Державина постепенно сменялись бархатными кафтанами.

Трудная молодость сделала его отчасти скрытым и замкнутым, с тем вместе он умел быть приятным. У Алексея Петровича Мельгунова, на Мельгуновском тенистом острове (том, что впоследствии перешел к Елагину, обер-гофмейстеру), на пикниках, среди умной и просвещенной беседы он был занимателен. Масоны из мельгуновских друзей звали его в свою ложу, но он воздержался. Он был свой человек и на пышных пиршествах князя Мещерского с генералом Перфильевым, и среди людей не столь знатных, там, где попросту пенилась старая серебряная кружка, налитая пополам русским и английским пивом (в пиво сыпались гренки и лимонная корка). Женщины, чаще всего доступные участницы холостых пирушек, находили в нем предприимчивого и веселого поклонника. Между возлюбленными, как между винами, не имел он особых пристрастий: любил всех равно.

* Глава 4 из книги: Ходасевич В. Ф. Державин.— М.: Мысль, 1988.— С. 79—108.

Вот красно-розово вино:

*За здравье выпьем жен румяных.
Как сердцу сладостно оно
Нам с поцелуем уст багряных!
Ты тож, румяна, хороша:
Так поцелуй меня, душа!*

*Вот черно-тинтово вино:
За здравье выпьем чернобровых.
Как сердцу сладостно оно
Нам с поцелуем уст лиловых!
Ты тож, смуглянка, хороша:
Так поцелуй меня, душа!*

*Вот золото-кипрское вино:
За здравье выпьем светловласых.
Как сердцу сладостно оно
Нам с поцелуем уст прекрасных!
Ты тож, белянка, хороша:
Так поцелуй меня, душа!..*

Братья Окуневы, у которых пять лет тому назад, выйдя в прапорщики, приобрел он в долг первую свою карету, теперь ввели его в дом князя Вяземского. Это было знакомство особой важности: князь Александр Алексеевич был андреевский кавалер и генерал-прокурор Сената, то есть приблизительно совмещал должности министров финансов, внутренних дел и юстиции. Возвышением он обязан был своей глупости: поручая ему ведение важных дел, Екатерина могла быть спокойна, что никому не придет в голову приписывать Вяземскому ее собственные заслуги. Впрочем, рекомендованный государыне еще Орловыми, Вяземский умел быть отличным служакой; угрожаемая государыне, не забывал и себя, то есть воровал, но в меру; был неразборчив в средствах и деятелен, потому что завистлив. Он жил на Малой Садовой в собственном доме, где, кстати, помещалась и тайная канцелярия: иногда он лично присутствовал при допросах. Никто его не любил, но все у него бывали: как не бывать у генерал-прокурора? Ему было пятьдесят лет. Жена его, урожденная княжна Трубецкая, была значительно моложе своего супруга и старалась придать дому некоторую приятность.

Ища покровительства Вяземских, Державин постановил их очаровать и скоро того достиг. Он стал проводить у них целые дни, сделался своим человеком. Иногда читал князю вслух, «большею частью романы, за которыми нередко и чтец, и слушатель дремали»: Вяземский — потому, что именно так и смотрел на литературу, как на снотворное средство, а Державин — по врожденной сонливости (при всей кипучести своего характера он обладал странным свойством: порою даже среди оживленной беседы внезапно его охватывал сон). Вечерами играли в вист; эта игра не давалась Державину. К счастью, в то время как другие вельможи игрывали на бриллианты, черпая их из шкатулки ложкою, у Вяземских игра шла по самой маленькой (хозяин дома был скуп). Что касается княгини, то Державин порою сочинял от ее имени стихи, обращенные к супругу, «хотя насчет ее страсти и привязанности к нему не весьма справедливые, ибо они знали модное искусство давать друг другу свободу». Княгиня была к Державину столь благосклонна, что даже хотела выдать за него свою двоюродную сестру, княжну Урусову, славную стихотворицу того времени, но Державин отшутился. (Княжна так и осталась старой девой.)

После всего этого не покажется удивительным, что лето 1777 года Державин провел в имении Вяземских под Петербургом. Наконец в августе месяце открылась в Сенате вакансия, и Державин назначен был экзекутором 1-го департамента (государственных доходов). Должность была довольно видная, но требовала немалых трудов. Отношения с сослуживцами тотчас сложились отличные: главным начальником был князь Вяземский, а ближайшим и непосредственным — обер-прокурор 1-го департамента Резанов, с всею семьей которого Державин давно был в дружеских отношениях.

Точно так же он и раньше знаком был, а теперь сошелся короче с обер-секретарем Александром Васильевичем Храповицким. Это был толстый, веселый человек, не лишенный лукавства, любивший наблюдать молча, но умевший порою сказать словцо острое и проницательное. В юности подавал он поэтические надежды, но лиру почти забросил, однако усердно вписывал в особую книгу вольные стихи, написанные другими. Вообще любил собирать документы, записки, письма, вел дневники. В нем дремал историк.

Осип Петрович Козодавлев, такой же экзекутор, как и Державин, но во 2-м департаменте, был умом куда проще, зато в свое время учился в Лейпцигском университете, переводил с немецкого и сам баловался стишками (впрочем, кто ими не баловался?). Очень был юркий и обязательный человек. Вскоре после начала их знакомства, 30 августа, в день Александра Невского, Державин был приглашен к Козодавлеву смотреть из окна крестный ход. Были и другие гости, среди которых одна девица особенно привлекала внимание. Было ей лет семнадцать. Черные, как смоль, волосы, острый, с легкой горбинкой нос, из-под черных бровей — огненные глаза на несколько бледном, словно нерусском, слегка бронзовато-оливковом лице — все изумило Державина. Она была с матерью. Державин осведомился о фамилии. Бастидоновы был ответ. Державин уехал. Смуглая красавица не вышла у него из памяти. Зимой он встретил ее в театре, и вновь она поразила его.

* * *

23 февраля, на масленой неделе в пятницу, младший из братьев Окуневых, быв на конском бегу, из-за чего-то поссорился с Храповицким. Дошло до того, что они ударили друг друга хлыстиком и порешили быть поединку. Храповицкий объявил своим секундантом младшего сенатского секретаря Александра Семеновича Хвостова (Хвостов писал стихи, и двадцатилетний братец его двоюродный, Дмитрий Иванович, тоже писал, да так плохо, что уж тогда смеялись). Окунев же прискакал к Державину, в свою очередь прося быть секундантом. Державину эта просьба не улыбалась: он боялся испортить отношения с Храповицким. Как быть? Он дал Окуневу согласие, но при условии, что наперед посоветуется с Резановым: если Резанов не посмотрит косо — Державин будет секундантом, в противном же случае вместо себя приведет Гасвицкого, того самого офицера, которого некогда в Москве спас от шулеров. В согласии Гасвицкого он не сомневался.

На том и порешили. Державин поехал к Резанову, но не застал дома: сказали, что он на Васильевском острове у герольдмейстера Третьяковского на блинах. (Это был Лев Васильевич Третьяковский, сын покойного поэта.) Делать нечего, отправился Державин на Васильевский остров. Наступил уже вечер, обед кончился, гости разъезжались. Запорошенный снегом Державин вбежал в переднюю, там, возле матери, в ожидании своей кареты стояла она!

Встреча была мгновенна. Через минуту красавицы уже не было, но после того с Резановым говорил Державин торопливо и бестолково — то о дуэли, то о девице Бастидоновой. Вдруг объявил, что готов жениться: Резанов смеялся, не понимая, шу-

тит он или говорит правду. От секунданта советова́л по возможности уклониться, напомнив, что Храповицкий — любимец Вяземского.

Тогда Державин поехал звать Гасвицкого, но и того не застал. Все еще думая о черноокой девице, оставил записку: изложил дело, сообщил, что дуэль состоится завтра, в таком-то часу, в лесу под Екатерингофом, просил приехать. Потом наконец вернулся домой, велел подать свечи, припомнил весь этот странный и суетливый день и уснул влюбленным бесповоротно.

В субботу поутру, не имея ответа от Гасвицкого, пришлось Державину ехать в Екатерингоф. Там все уже были в сборе. Направились к лесу. По дороге Державин старался примирить противников, и это ему легко удалось, ибо отважными забияками они не были. Пока добрались до назначенного места, враги уже целовались. Хвостов, однако, сказал, что должно бы им хоть для вида поцарапаться, чтобы не было стыдно. Державин возразил: если противники помирились без боя, никакого в том стыда нет. Хвостов начал спорить, Державин вспылил, и слово за слово, дошло до того, что горячие секунднты схватились за оружие. По пояс в снегу, они уже обнажили шпаги и стали в позытуру. В самое это мгновение весь красный от спешки и от того, что был прямо из бани, явился Гасвицкий. Бросившись между Державиным и Хвостовым, он пресек битву. Тогда всей компанией отправились в трактир, выпили кто чаю, кто пуншу и отпраздновали общее примирение.

Меж тем красавица все предносилась воображению Державина. Едучи домой с Гасвицким, он ему открылся. На другой день, в прощенное воскресенье, был при дворе большой маскарад. Влюбленный явился на нем вместе с наперсником, оба в масках. Гасвицкому предстояло взглянуть на девицу беспристрастными дружескими глазами. Державин тотчас увидел ее в толпе и громко воскликнул:

— Вот она!

И мать и дочь обернулись, поглядели пристально. Во весь маскарад, следуя по пятам за ними, кавалеры наши старались приметить поведение молодой красавицы, с кем и как она обращается. «Увидели знакомство степенное и поступь девушки во всяком случае скромную, так что при малейшем пристальном на нее незнакомом взгляде лицо ее покрывалось милою, розовою стыдливостию. Вздохи уже вырывались из груди улыбавшегося эскутера». Наперсник вполне им сочувствовал. Тут же примерно подсчитали державинские достоинства, и решено было свататься.

Восторгов своих Державин не скрыл и от прочих друзей, бывших на маскараде. Так что на следующий день, в чистый понедельник, за обедом у Вяземских над Державиным стали уже подтрунивать за вчерашние маскарадные шашни. Вяземский спросил:

— Кто такая красавица, которая столь скоропостижно пленила?

Державин назвал фамилию. Это не понравилось управляющему ассигнационным банком действительному статскому советнику Кирилову, который присутствовал на обеде. Когда встали из-за стола, он отвел Державина в сторону:

— Слушай, братец, нехорошо шутить на счет честного семейства. Сей дом мне коротко знаком: покойный отец девушки, о коей речь идет, мне был друг, да и мать ее тоже мне приятельница; шутить при мне на счет сей девицы я тебе не позволю.

— Да я не шучу, я поистине смертельно влюблен.

— Когда так, что ты хочешь делать?

— Искать знакомства и свататься.

— Я тебе могу сим служить.

Положено было завтра же ввечеру, будто ненарочно, заехать в дом Бастидовой.

* * *

Великий князь Павел Петрович родился 20 сентября 1754 года. Тотчас после того, как духовником их высочеств была прочтена очистительная молитва, императрица Елисавета Петровна явилась в спальню великой княгини и забрала младенца к себе. С этой минуты мать почти не видала его и всей душой раз навсегда возненавидела мамушек и нянюшек, попечению коих он был вручен. Первое место среди этих женщин, естественно, занимала кормилица по имени Матрена Дмитриевна. Ее тогдашняя фамилия до нас не сохранилась. Вскоре, впрочем, она овдовела, а в 1757 году вступила во второй брак. Избранником ее сердца был Яков Бенедикт Бастидон, родом португалец, в Россию приехавший из Голштинии: Петр III, тогда еще великий князь, привез его в качестве своего камердинера. От Бастидона — в России звали его Бастидоновым — у Матрены Дмитриевны было четверо детей: сын и три дочери. Из них семнадцатилетняя Екатерина Яковлевна и была та самая, что покорила сердце Державина.

К тому времени, когда произошла эта знаменательная встреча, самого Якова Бастидона уже не было на свете: Матрена Дмитриевна овдовела вторично. Была она женщина многоопытная, пронырливая и жадная, но обстоятельства ее выходили довольно трудны. Детям она старалась дать пристойное воспитание, дочерей надо было одеть и вывезти, а покойный муж больших средств не оставил. Давно миновали счастливые времена, когда сама Елисавета Петровна наряжала Матрену Дмитриевну к венцу, когда на свадьбе гремела придворная музыка и государыня изволила танцевать. О милостях нынешней императрицы нечего было думать: Екатерина, как сказано, терпеть не могла Бастидонову. От великого князя Павла Петровича помощи тоже не было: выкормыш Матрены Дмитриевны сам постоянно нуждался в деньгах. Поэтому семья жила по-мещански скромно, почти бедно, в собственном, но не большом доме у церкви Вознесения.

27 февраля, во вторник на первой неделе великого поста, вечером подъехали к этому дому Кирилов с Державиным. Гостей в такой день не ждали. Босая девка с сальной свечой в медном подсвечнике встретила их в сенях. Кирилов объявил хозяйкам, что, проезжая мимо с приятелем, захотелось ему выпить чаю. Тут он представил Державина. После обыкновенных учтивостей сели. Та же босая девка подала чай. Часа два провели в общежительном разговоре. Сестры-красавицы хохотали и говорили много, пускаясь в хитрые пересуды, чтобы выказать остроумие свое и умение жить в большом свете. Катенька же сидела тихо, вязала чулок и вмешивалась в беседу с великой скромностью, рассудительно и пристойно. Влюбленный не только «жадными очами пожирал все приятности, его обворожившие», но и старался заметить все — от разговора до утвари. Заключил наконец, что люди небогатые, но честные, благочестивы нравом и опрятны в одежде. Откланиваясь, новый знакомый просил позволения и впредь быть к ним въезжу.

На другой день Кирилов явился к Матрене Дмитриевне и от имени Державина сделал настоятельное предложение. Мать отвечала, что сразу не может решиться, и просила дать несколько дней сроку, чтобы разведать о женихе. Но Державину, разумеется, не терпелось. В Сенате служил еще один знакомый Бастидоновых, некто Яворский. Державин просил и его подкрепить сделанное предложение. Яворский пообещал.

Меж тем влюбленный стал часто ездить пред домом любезной особы. Это входило в правила ухаживания. Катенька со своей стороны полюбила сиживать у окна. Вскоре после беседы с Яворским Державин выследил такой час, когда матери дома не было, и решился заехать. Хотелось ему узнать мысли самой невесты. Вошел, он по обыкновению поцеловал руку и сел рядом с Катенькой. Затем просто, без обиняков, спросил, известна ли она об искании его.

— Матушка сказывала,— был ответ.

— Что ж вы думаете?

— От нас не зависит.

— Но если б от вас, могу ли я надеяться?

— Вы мне не противны,— сказала красавица вполголоса и покраснелась.

Тогда он бросился на колени и стал целовать ее руки. Тут, как в доброй старой комедии, открылась дверь и вошел Яворский.

— Ба, ба! И без меня дело обошлось! — вскричал он.— Где матушка?

— Она поехала разведать о Гавриле Романыче.

— О чем разведывать? Я его знаю, да и вы, как вижу, решились в его пользу. То, кажется, дело и сделано.

Вскоре вернулась Матрена Дмитриевна. Среди объятий, слез, поцелуев Державин с Катенькой были помолвлены. Госпожа Бастидонова все-таки объявила, что для окончательного сговора нужно соизволение великого князя, который, как молочный брат Катеньки, почитался ее покровителем. Само собой, дело шло не столько о соизволении, сколько о помощи в рассуждении приданого. Через несколько дней Державин с будущей тещей предстали перед наследником. Чувствительный и уязвленный Павел Петрович сердечно радовался каждому знаку внимания. Он принял гостей в кабинете, говорил с ними долго, обласкал чрезвычайно и отпустил, обещав хорошее приданое, «как скоро в силах будет». В силах, однако ж, он так и не оказался.

Свадьбу сыграли 18 апреля 1778 года. За два дня перед тем из Казани пущено было такое письмо:

«Государыня моя, Екатерина Яковлевна! Любезное письмо ваше от 14 марта я с немалым удовольствием приняла, и, когда уже по благословению Божию судьба соединяет вас в супружество моему сыну, сие есть мое обрадование, и взаимно обнадеживаю вас моею к вам усердностью и материнской любви горячностью, и желаю, чтобы я была счастлива в старости моей вашим почтением и любовью, кою я уже и предвижу, отчего зависит мое благополучие и утешение, и в знак к вам моей любви при сем посылаю гостинец хотя не в драгих вещах состоящий, но оно от моего искреннего усердия; прими; моя любезная, и будь благословенна Божиею милостию и уверьтесь, что я вам во всю мою жизнь усердная.

Матушке вашей, милостивой государыне моей, свидетельствуйте мое почтение и прошу о принятии меня в ее благосклонность, и я с моей стороны оное сохранить, конечно, не премину, а затем пребываю охотная вам во услугах

Фекла Державина».

* * *

Державин женился стремительно, но вовсе не очертя голову. Впервые переступив порог бастидоновского дома (в тот памятный вечер, когда приехал туда с Кирилловым), он сразу стал зорко всматриваться в невесту и, если бы не нашел того, что ему было нужно, не стал бы свататься, отступился бы. В числе его прочных и простых взглядов был и взгляд на семейную жизнь. Он хотел быть в доме главою, тем более жениась тридцати пяти лет на девушке, которая была ровно вдвое моложе его. Будучи сам порывист и неуступчив (что почитал в себе отчасти даже достоинствами), от жены он требовал вовсе иных добродетелей: «тихость и смирение суть первые достоинства женщин, и они одни те истинные превосходства, которые все их прелести и самое непорочнейшее их поведение украшают. Без них страстнейшая любовь — вздор».

Тихость и смирение он подметил в Екатерине Яковлевне при первой беседе, а угадал, пожалуй, и раньше — при первом на нее взгляде. И в самом деле, то были ее

первейшие добродетели. Если он собирался быть с нею строгим, то оказалось тотчас же, что этого не требуется. Она была перед мужем тиха и смиренна, и это давалось ей безо всякой борьбы, без самопожертвования: во-первых, потому, что так она понимала свой долг, во-вторых, потому, что мужа считала умнее себя и во всех отношениях превосходнее, а в-третьих, и это, конечно, главное, потому, что его любила. Выходила за него, может быть, без особой страсти, но потом словно влюблялась все горячее и крепче. Ее сердечная преданность была безгранична, верность — мало сказать непоколебима: просто она даже никогда не подвергалась и не могла подвергнуться никакому испытанию.

При всей кротости Екатерина Яковлевна не была, однако же, безвольна. Благожелательная ко всем, она была уступчива лишь до известного предела и в случае необходимости могла постоять за себя, а в особенности за мужа. Была добра без навязчивости, почти незаметно, ласкова — без слащавости, приветлива — без унижения. Словом, самые чувства и добродетели, сильные, но подчиненные внутренней гармонии, были развиты в ней так же стройно, как она была стройна внешне. Самому Державину лишь постепенно открылась ее пленительность. И он перед нею не размякал, но какая же могла быть речь о суровости или строгости, если его любовь изо дня в день, а после — из году в год только росла и крепла? В то время поэты любили давать прозвания своим возлюбленным. Темиры, Дафны, Ли-леты, Хлои, как чужеземные птицы, налетели в поэзию. Державин своей жене дал русское, задушевное имя Пленира.

Вскоре после свадьбы он взял четырехмесячный отпуск и повез жену в Казань — показать ее своей матери. Екатерина Яковлевна без усилий пленила и свекровь, и все казанское общество. Когда вернулись Державины в Петербург, директор казанской гимназии Каниц писал: *«Noch lange werden die verntiftigen unter den Casanschen Schonnen, daran gedenken, dass die junge, verehrungswerte Catharina Jakowna sich cine Zeitlang hier aufgehalten habe»**.

Денежные дела улучшались. Имение Маслова, пущенное с публичного торга, почти целиком досталось Державину как главному кредитору. Уплаченные из выигрыша двадцать тысяч вернулись к нему в виде трехсот душ в Рязанской губернии. Заключив мировую с одним из казанских соседей, он получил еще восемьдесят. Когда правительство стало безденежно раздавать новоприобретенные днепровские земли, Державин раздобыл себе в Херсонской губернии 6000 десятин со ста тридцатью душами запорожцев. Таким образом, вместе с пожалованными при выходе из полка тремястами, а также с материнскими и отцовскими всего очутилось за Державиным больше тысячи душ. Это был уже известный достаток. Сюда надо прибавить сенатское жалованье. Державины могли жить «приличным домом».

Они поселились на Сенной площади. Счастливый Державин был чрезвычайно радушным хозяином. Поэзия гостеприимства была ему введена. Хвостов, Храповицкий, Резановы, Козодавлев, Окуневы, порою сам генерал-прокурор с супругою стали его гостями. Но сердце больше лежало к нескольким новым знакомым.

С молодым стихотворцем Василием Васильевичем Капнистом первая встреча произошла еще в полку. Теперь знакомство перешло в дружбу. Родом малоросс (он не только говорил, но и писал с малороссийским выговором: Катеньку звал Катерина Яковлевна), Капнист был отчасти увалень, был порою хмур и склонен к обидчивости, но при всем том человек добрейший и великий семьянин. Впрочем, женат он был лишь недавно.

* Долго еще будут вспоминать умницы среди казанских красавиц, что юная и уважаемая Екатерина Яковлевна пробывала здесь некоторое время.— нем.

Две молодые четы коротко сблизилась, и это повело к тому, что вскоре вокруг Державиных образовался целый кружок. Дело в том, что у Александры Алексеевны Капнист (урожденной Дьяковой, дочери сенатского обер-прокурора) была сестра, Марья Алексеевна, девушка очень милая и собой преизрядная. Два друга Капнистовых были в нее влюблены (надо ли прибавлять, что оба принадлежали к числу стихотворцев?).

Первого звали Львов Николай Александрович. Судьба была к нему благосклонна. Приятный лицом, состоятельный, имевший очень большие связи, хорошо образованный, был он зараз поэт, музыкант, живописец и архитектор. Ничего вполне замечательного не довелось ему создать ни в поэзии, ни в живописи, ни в архитектуре, ни в музыке. Но всюду он был умным и тонким ценителем. Не без приятного легкомыслия он одновременно переводил Анакреона и строил церкви. Стихи его были не глубоки, но забавны, веселы, бодры, как сам он был всегда легок, весел и бодр. Много он суетился, любил хлопотать за приятелей, покровительствовать, шуметь и блистать. Впрочем, делал все это со вкусом и не без тонкости. Был чувствителен. Маша Дьякова отвечала на его чувства нежной взаимностью; но отец ее почему-то был против этого брака.

Другой поклонник был сын обрусевшего немца Иван Иванович Хемницер. Он ничем не походил на Львова. Был настроен: философически, сдержан, задумчив, отчасти потому, может быть, что уж очень был нехорош собою, даже до безобразия. Как раз незадолго до женитьбы Державина вернулся он из заграничной поездки, влюбился в Машу Дьякову и стал самым прискорбным образом за нею ухаживать. Притворялся щеголем, петиметром, густо пудрил уродское лицо свое и сжал на него мушки. Любви не скрывал, даже посвятил Машеньке первую книгу своих сказок и басен, но все было напрасно. Ни Маша, ни счастливый соперник над Хемницером не смеялись (по крайней мере при нем), к чувствам его относились бережно. Львов, пожалуй, даже особенно был с ним ласков, но бедный Хемницер еще не знал самого горького обстоятельства: Маша Дьякова жила у отца, значилась в девушках, но была уже тайно повенчана с Львовым.

Семеро друзей сходились часто. Три прелестные женщины и четыре поэта связаны были любовью, дружбой, беседами об искусствах. Екатерина Яковлевна рисовала силуэты или занималась рукоделием. Львов руководил ее искусными вышиваниями. Иногда посещали Львова на его даче, близ Невского монастыря, на Охте. Там в память прочного союза каждый посадил по молодому вязу или по сосенке. Порою мелькала среди этого общества красивая, чернокудрая, не по летам высокая девочка. Это была третья из сестер Дьяковых — Даша. Впрочем, ей было всего лет одиннадцать.

* * *

В 1777 году умер Сумароков. Теперь на вершинах российского Парнаса гремели действительный статский советник Херасков и кабинетный переводчик Василий Петров, семинарист, имевший честь слыть «карманным ее величества стихотворцем», каковым прозвищем он весьма гордился. Оба, однако ж, были значительно старше Державина: их слава началась еще при Ломоносове. Но и ближайшие сверстники Державина не оставались в тени. Княжнин родился в 1742 году, Богданович — в 1743-м, Фонвизин — в 1744-м. От каждого из них Державин по возрасту разнился не годами, а месяцами. Но Княжнин был известен уже «Дидоной», Богданович написал «Душеньку» и пребывал «на розах», Фонвизин прославился «Бригадиром», путешествовал за границей и дружил с самим Никитою Паниным. Рядом с ними Державин был просто никто.

Два стихотворения, напечатанные им перед самой пугачевщиной, справедливо прошли незамеченными. После пугачевщины выдал он «Оды, переведенные и сочиненные при горе Читалагае». Они были замечены только среди поэтической молодежи. Будучи летами гораздо старше, Державин оказался литературным сверстником Капниста и Львова. Он смиренно склонялся перед авторитетами, они с авторитетами готовы были бороться. Но, ища новизны и даже отчасти чуя к ней верный путь, сами они оставались поэтами заурядными. Напротив того, Державин, стремясь подражать, оказывался произвольно оригинален.

Его познания были слишком невелики. Он пополнял их жадно, но беспорядочно. С того дня, как он вышел из гимназии, учиться ему было некогда, к тому же он не умел учиться. Читалагайские оды были чудесной победой гения над безграмотностью. Свой собственный стих Державин обрел, имея весьма спутанные понятия о стихах вообще, не зная простейших правил, которые для Капниста и Львова были детской азбукой, Державин делал ошибки в размере, в рифме, в цезуре, даже в языке: самые неотесанные провинциализмы уживались у него рядом с явными германизмами (немецкий язык был для него языком поэзии).

Его неопытность была очевидна Капнисту и Львову, но они, может быть, почували, что Державин превосходит их дарованием. В общем же почитали его себе равней, видели в нем возможного соратника и старались просветить в духе новых веяний. Эти новые веяния были не слишком ясны им самим, но они зачитывались Горацием и находили великие откровения в теории Батте. Теперь мы можем сказать, что то были первые, остро переживаемые, но смутно осознанные влечения к реализму, которым силою вещей пора было зародиться в русской поэзии. Этим влечениям предстояла долгая и славная жизнь, но тогда, при первом своем рождении, они выражались в попытках заменить условности ломоносовской школы новыми условностями, представлявшими, однако же, некий шаг вперед.

Впоследствии Державину казалось, будто именно в это время под влиянием Львова, Капниста и Хемницера в его поэзии совершился глубокий перелом. В действительности такого перелома не было. Учителя неопытные и сами себе не вполне уяснявшие сущность своего учения, Львов и Капнист не столько внушили Державину новые поэтические идеи, сколько попросту исправляли его просодические и стилистические ошибки, не умея, однако, дать в руки ученику верные способы избежать таких же ошибок в будущем. Особенно тут старался Львов, чинивший державинские стихи с тою же дружеской хлопотливостью, с какой он устраивал служебные дела Хемницера и Капниста.

В глубине же державинской поэзии происходило медленное и закономерное развитие. Действительно, оно кое в чем совпадало с чаяниями Капниста и Львова: тут чутье их не обмануло, Державин был их естественным соратником. Но это развитие протекало самостоятельнее, чем казалось самому Державину. После «Читалагайских од», написанных до литературной встречи с Капнистом и Львовым, следующий важный этап его поэзии составили стихи на смерть Мещерского. Но как раз они-то и связаны всего непосредственней с теми же «Читалагайскими одами».

*Едва увидел я сей свет,
Уже зубами Смерть скрежещет,
Как молнией, косою блещет,
И дни мои, как злак, сечет.*

*Ничто от роковых когтей,
Никая тварь не убегает:*

*Монарх и узник — снедь червей,
Гробницы злость стихий снедает;
Зияет Время славу стерть:
Как в море льются быстры воды,
Так в вечность льются дни и годы;
Глохнет царства алчна Смерть.*

*Скользим мы бездны на краю,
В которую стремглав свалимся;
Приемлем с жизнью смерть свою;
На то, чтоб умереть, родимся;
Без жалости все Смерть разит:
И звезды ею сокрушаются,
И солнцы ею потушаются,
И всем мирам она грозит.*

.....

*Смерть, трепет естества и страх!
Мы — гордость, с бедностью совместна:
Сегодня бог, а завтра прах;
Сегодня льстит надежда лестна,*

*А завтра — где ты, человек?
Едва часы протечь успели,
Хаоса в бездну улетели,
И весь, как сон, прошел твой век...*

Где только не искали источников, из которых почерпнуты будто бы отдельные частности и сама мысль этих стихов! И у Горация, и у Геллера, и у Петрова, и в Библии... Не обратили внимания лишь на то, что и мысль, и все замеченные параллельные места (и еще ряд незамеченных) имеются гораздо ближе: в той из «Читалагайских од», которая переведена из Фридриха и называется «Жизнь есть сон»: «О Мовтерпий, дражайший Мовтерпий, как мала есть наша жизнь!.. Лишь только ты родился, как уже рок того дня влечет тебя к разрушающей ноши...» Много мыслей и образов перенесено из оды Фридриха в оду на смерть Мещерского, вплоть до знаменитого обращения к Перфильеву: «Сей день иль завтра умереть, Перфильев! должно нам конечно», навеянного обращением Фридриха к Мовтерпию*.

Между «Читалагайскими одами» и одой «На смерть князя Мещерского» нет скачка, есть лишь огромное поэтическое развитие, которое становится особенно заметно именно потому, что так очевидна связь между ними. В стихах, родственных стиху «Читалагайских од», но несравненно более совершенных, Державин говорит о владычестве смерти. В этом следует он за Фридрихом, но превосходит его. Державинская ода короче и сильнее. В ней каждое слово бьет прямо в цель. Такой лапидарности и точности Державин, быть может, не достигал уже никогда впоследствии. Уже самая постановка темы замечательна. Державин не рассуждает, как Фридрих, но развертывает свою тему на конкретном примере, который, однако же, избран с таким расчетом, чтобы ода не оказалась слишком прикреплена к случаю.

* Который есть не кто иной, как французский ученый Мопертюи. Эта забавная ошибка произошла от необразованности и торопливости Державина. Французское Maupertuis он прочел на латинский лад да еще по рассеянности переставил буквы: получился Mauterpius, превратившийся по-русски в Мовтерпия. Этому легендарному лицу суждено было на многие годы стать спутником самых мрачных раздумий Державина.

Мещерский не был человеком выдающимся. В его лице Державин не оплакивает ни героя, ни прерванного поприща, ни кем-либо понесенной утраты. Мещерский — просто богач, «сын роскоши, прохлад и нег», ничего больше; В его жизни представлена сама сладость жизни. Чем чувственней и обильней житейские блага, от коих его похищает смерть, тем разительней выступает предмет всей оды. Картина еще усилена внезапностью смерти. «Где стол был яств, там гроб стоит»: невозможно сказать общее и в то же время конкретнее, короче и в то же время сильнее.

Державин не был другом Мещерского, был просто знакомым. Ходил слух, будто во времена пугачевщины он вешал людей «более из поэтического любопытства, нежели из настоящей необходимости». Это неверно. Но верно то, что с самой читалагайской поры размышления о смерти стали для него притягательны. Он охотно им предавался — среди счастья и довольства в особенности. Есть некое поэтическое сладострастие в том, как здоровый, благополучный, окруженный друзьями, любимый и любящий Державин созерцает смерть Мещерского и по поводу нее философствует. Четыре года он таил и вынашивал эти мрачные образы, выжидая лишь последнего толчка, подходящего случая, чтобы придать им форму и с творческим наслаждением выбросить из себя. Таким случаем была смерть Мещерского. Резкие жизненные контрасты прельщали Державина так же, как резкие столкновения слов и образов. Эти стихи о скоротечности жизни и ложности счастья писал он как раз в те дни, когда твердо верил в свое счастливое будущее. Это верование прорвалось наружу, недаром в одной из заключительных строф он сказал о самом себе: «Зовет, я слышу, славы шум». То было первое из числа пророчеств, которых впоследствии он находил много в своих стихах и которыми столь гордился.

* * *

Тогда все поэты служили — звания писателя не существовало. Общественное значение литературы уже признавалось, но на занятие литературой смотрели как на частное дело, а не общественное. Что касается Державина, то в его понятиях поэзия и служба были связаны особым образом.

Он, конечно, не думал, что чин или орден могут прибавить достоинства его стихам; равным образом не смотрел он и на стихи как на способ для добывания орденов и чинов; это пошлое представление пора забыть. Дело обстояло иначе, гораздо серьезнее и достойнее. К началу восьмидесятых годов, когда Державин достиг довольно заметного положения в службе и стал выдвигаться в литературе, поэзия и служба сделались для него как бы двумя поприщами единого гражданского подвига.

Поездка по Волге, предпринятая Екатериной в 1767 году, подтвердила ее неутешительные мысли о внутреннем положении России. Случаю было угодно, чтобы эти печальные наблюдения были сделаны в тех самых местах, где прошло горькое детство Державина и невеселая его юность. Угнетение, произвол, бесправие, бессудье — вот что увидела государыня во глубине страны. То, что ей было показано лишь издали и отчасти, Державину было давно ведомо безо всяких прикрас по личному опыту и по опыту его близких. Врожденная бедность, несмотря на дворянское звание, рано приблизила его к простому народу, и память об этой близости никогда в нем не угасала: жила в воспоминаниях об избитом отце, о челобитчице-матери, плачущей у приказных дверей, о собственном сиротстве, о грубостях и обидах солдатчины; жила эта память и в складе его ума, отчасти мужицкого, и в чертах житейского обихода, и в его отношении к собственным крепостным, и, наконец, в самом языке его.

На усмирении пугачевщины Державин отправился по карьерным соображениям; он и усмирять ее со всеусердием — по тем же соображениям и по долгу присяги, и потому, что Емельян Пугачев был в его глазах жестоким и грязным обманщиком. Но

вот что весьма замечательно: не в личности Пугачева, конечно, но в пугачевщине, как движении народном, он очень скоро почувал если не правду, то все же логику. Понял, что возмущение имеет свои причины и оправдания. След этих раздумий — в его письме к казанскому губернатору Бранту от 4 июня 1774 года: «Доложить вашему высокопревосходительству имею: надлежит искоренить взятки. Говорить о истреблении заразы сей потому я за должное себе поставляю, что разливание оной наиболее всего, по моим мыслям, способствует злу, терзающему наше отечество». Но это лишь след, лишь то, что Державин по своему положению мог сказать к слову и в официальной бумаге. Мысли его шли дальше. Это видно из того отношения, которое в пору пугачевщины стало у него складываться к самодержавной власти и к личности самодержца.

Уже в ранних (очень слабых) стихах Державина, посвященных Екатерине, находим многословные рассуждения о ее заслугах и общественных добродетелях. Однако ж автор нигде не говорит о том, что эти заслуги суть основание и оправдание ее власти. Державину с малых лет была внушена идея о святости самодержавия, о его происхождении свыше. В глазах молодого Державина помазанник прав и велик уже в силу своего помазания. (Разумеется, очень хорошо, если притом имеются за ним и заслуги.)

После пугачевщины у него от этих воззрений ничего не осталось. Насколько повлияла тут пугачевщина, решить невозможно, у нас нет прямых данных. Но в самом факте сомнения быть не может: уже в пору писания «Читалагайских од» Державин так или иначе расстался с идеей о божественном происхождении царской власти. Помазание и титул перестали для него значить что бы то ни было. Отныне в его глазах «пышность одежд» равняет царей не только с богами, но и с куклами. Императорская порфира не мешает ее носителю падать и еще ниже:

*Калигула, быть мнимый богом,
Не равен ли с своим скотом?*

Два года спустя в «Эпистоле И. И. Шувалову» мысль эта повторена:

*О! жалкий полубог, кто тщетно носит сан:
Пред троном он ничто, на троне истукан.*

Отсюда вовсе не следует, что Державин не признает царской власти. Он только ищет для нее иной источник и иную опору. Вот отрицательная формула, из которой, однако ж, легко вывести и положительную:

*Пускай в подсолнечную трубит
Тиран своим богатством страх;
Когда народ кого не любит,
Полки его и деньги — прах.*

Это неуклюже, но ясно. Это значит, во-первых, что властитель, не опирающийся на народную любовь, в сущности безвластен. Во-вторых, что он и не царь, а тиран, захватчик власти, которого можно согнать с престола, не совершая никакого святотатства. Следовательно, царя от тирана отличает не помазание, а любовь народа. Только эта любовь и есть истинное помазание. Таким образом, не только опорой, но и самым источником царской власти становится народ. Эта мысль не вяжется с укоренившимися представлениями о Державине. Однако ж она не случайно, не в «по-

этическом жару» высказана: Державин постоянно к ней возвращается, она отныне лежит в основе его воззрений, и без нее понять Державина невозможно.

Под словом *народ* он склонен был разуметь всю нацию, и это ему удавалось, пока шла речь о делах военных или дипломатических, пока *русский народ* противопоставлялся какому-нибудь иному. Но лишь только взор Державина обращался во глубину страны, непосредственное чувство тотчас побуждало его звать народом лишь обездоленную, бесправную часть нации. Дело, однако, шло вовсе не об одном крестьянстве: бедный дворянин, вотще ищущий суда и управы на богатого соседа, или мелкий чиновник, прижимаемый крупным, в глазах Державина были такими же представителями народа, как и крестьянин, страждущий от произвола помещичьего. Словом, так выходило, что, кто страждет, тот и принадлежит к народу; царь же народный — защита и покров всего слабого и угнетаемого от всего сильного и угнетающего.

На Екатерину Державин взирал с благоговением. Он ожидал, что именно ей дано стать такой народной монархиней, «радостью сердец», способной облегчить народную долю, защитить слабых, укротить сильных, утереть слезы вдов и сирот. Эти надежды казались ему тем более основательными, что первые уроки вольнодумства были даны ему самой жизнью, а вторые, более систематические, он извлек из екатерининского Наказа, этого собрания самых передовых, самых гуманных и либеральных идей, дотоле высказанных в России (да и не только в России: недаром распространение Наказа было воспрещено во Франции). Екатерина была его наставницей: уже в «Читалагайских одах» он делает прямые заимствования из Наказа. Больше того: Наказ и созыв Комиссии по составлению проекта нового уложения воодушевили Державина главной мыслью, которой суждено было стать основанием его поэтического и служебного пафоса.

После того как существующее законодательство было с высоты трона объявлено несовершенно и не ограждающим народ от произвола и кривотолка; после того как отсутствие законности было признано первым злом русской жизни; после того как законопослушание было названо основной добродетелью не только подданного, но и монарха,— у Державина, можно сказать, открылись глаза. Простое слово *закон* в русском тогдашнем воздухе прозвучало как откровение. Для Державина оно сделалось источником самых высоких и чистых чувств, предметом сердечного умиления. *Закон* стал как бы новой его религией, в его поэзии слово *закон*, как Бог, стало окружено любовью и страхом.

Наказ между тем давно лежал под сукном, а Комиссия была распущена. Это не смущало Державина. Екатерина в его глазах была навсегда озарена сиянием Наказа. Упрямый и прямолинейный, он в воображении своем наделял и ее этими двумя свойствами, которых в ней как раз не было. Тех сложных политических и личных обстоятельств, в которых протекала жизнь государыни и которые постепенно уводили ее от возвышенных предначертаний Наказа, он отчасти не знал, отчасти не хотел знать. Весьма рационалистически лишив монархию религиозного ореола, он в целостности перенес этот ореол на голову данной монархини. Его поэтический гиперболизм превращался тут в политический. Екатерина в его глазах сделалась обладательницей гражданских, то есть вполне человеческих, добродетелей, но в полноте и степени уже не человеческой, а титанической. Он допускал, что на ее пути могут встретиться и препятствия, и несчастья, но с безжалостной требовательностью обожателя готов был им радоваться:

*Услышьте, все земны владыки
И все державные главы!*

*Еще совсем вы не велики,
Коль бед не претерпели вы!
Надлежит зло претерпеть пятой,
Против перунов ополчиться,
Самих небес не утрашиться
Со добродетельной душой.*

Богиню он хотел окружить жрецами, ее достойными. Он видел пороки и происки вельмож. Ему представлялся выбор: бичевать порок или поощрять добродетель. Он не хотел вовсе отказаться от первого, но избрал преимущественно второе: вот почему он не стал сатириком. Изображение добра представлялось ему более плодотворным, нежели обличение зла. Он старался создать образец вельможи добродетельного, великодушного, бескорыстного, пекущегося о народном благе:

*Я Князь, коль мой сияет дух,
Владелец, коль страстьми владею,
Болярин, коль за всех болею...*

«Друг, царский и народный» — вот, по его определению, истинный вельможа. Такими виделись ему Бибиков, И. И. Шувалов. Таким он желал стать и сам. Тут, именно в этой точке, поэтическая деятельность соприкасалась у него со служебной. По его мнению, слова поэта должны быть им же претворены в дела. Обожатель Екатерины мечтал быть ее верным сподвижником, поклонник Закона хотел стать его неколебимым блюстителем.

* * *

В 1779 году здание Сената перестраивалось. Державин по должности экзекутора наблюдал за работами. Между прочим, зала общего собрания была украшена новыми барельефами, изваянными Рашетом. По окончании работ Вяземский вздумал осмотреть залу. На одном из барельефов представлен был храм Правосудия; императрица в образе Российской Минервы вводила в него Истину, Человеколюбие и Совесть. Поглядев на обнаженную фигуру Истины, Вяземский сделал кислое лицо и обратился к Державину:

— Вели ее, братец, несколько прикрыть.

Может быть, он не намеревался придать этим словам аллегорический смысл, но для Державина они прозвучали именно так. Чем ближе знакомился он с делами, тем видел яснее, что «стали от часу более прикрывать правду в правительстве». Кое-какие проделки генерал-прокурора он уже приметил. В следующем году между ним и начальником впервые пробежала черная кошка.

Только что были учреждены экспедиции о государственных доходах и расходах. Они находились в ведении генерал-прокурора. Державин был назначен одним из советников экспедиции доходов, и это поставило его в непосредственную служебную близость к Вяземскому. Для начала надобно было составить «начертание» о круге действий и об обязанностях экспедиций. Случилось так, что те, кому надлежало бы этим заняться (в том числе Храповицкий), уклонились, и Вяземский поручил дело Державину — с неохотою, ибо почитал его не довольно опытным. Последнее было справедливо. Сам Державин не без отчаяния принялся за работу, постановив, однако же, лицом в грязь не ударить. Он заперся у себя и не велел никого принимать. «Поелику ему была дика и непонятна почти материя, то марал, переменял и наконец через две недели составил кое-как целую книгу без всякой посторонней помочи». На

общем собрании экспедиции, когда читался державинский труд, Вяземский всячески придирался, но все же вынужден был представить «начертание» государыне; оно было подтверждено и вошло в Полное Собрание Законов (XXI, 15. 120).

Конечно, Державин был весьма горд: без знаний, без подготовки удалось ему выполнить поручение важное и ответственное. Он ждал награды — и не получил. Даже так выходило, что его труд едва ли не пытались приписать Храповицкому. Обиженный Державин поведал горе приятелю своему Львову, Львов был, что называется, правой рукой Безбородки, тогда состоявшего одним из секретарей государыни. Державин через голову Вяземского был произведен в статские советники. Понятно, какую досаду вызвало это в генерал-прокуроре, тем более что Безбородко был в числе его недругов. Он все же старался скрыть раздражение: приязнь между семействами Вяземских и Державиных еще поддерживалась, княгиня очень любила Екатерину Яковлевну.

Настал, однако же, день, имевший решительное влияние не только на отношения Державина с генерал-прокурором, но и на всю его жизнь. То было в конце мая 1783 года. Державин обедал у Вяземских. Он был не в духе: с часу на час должно было решиться одно дело, исход которого тревожил его уже несколько месяцев. Вдруг после обеда, часу в девятом, вызывают его в переднюю: там стоит почтальон с пакетом. На пакете странная надпись: «Из Оренбурга от киргизской царевны мурзе Державину», а внутри — осыпанная бриллиантами золотая табакерка с пятьюстами червонцев.

Державин тотчас догадался, что это и есть решение его участи. «Но не мог и не должен был принять это тайно, не объявив начальнику, чтобы не подать подозрения во взятках; а для того, подошед к нему, показал».

— Что за подарки от киргизцев? — гневно проворчал было генерал-прокурор. Но, осмотрев табакерку, он тоже все понял: посылка была от императрицы.

— Хорошо, братец, вижу и поздравляю, — сказал Вяземский. — Возьми, коли жалуют.

При этом постарался он улыбнуться, но улыбка вышла язвительная...

«Оду к премудрой киргиз-кайсацкой царевне Фелице» Державин написал еще в прошлом году, но ее вольный тон и насмешливые намеки на сильнейших вельмож (даже на Потемкина) показались опасны самому автору. Львов и Капнист были того же мнения. Решено было оду прятать, но проницательный Козодавлев, живя с Державиным в одном доме, однажды увидел ее на столе, прочел несколько строк и упрямил показать полностью. Потом, под страшными клятвами, взял списать для некоей госпожи Пушкиной, любительницы поэзии, а через несколько дней ода уже очутилась у И. И. Шувалова — разумеется, по секрету. Шувалов в застольной беседе прочел ее нескольким господам — опять-таки по секрету. Они по секрету пересказали ее Потемкину — Потемкин ее затребовал от Шувалова. Тот в страхе, вызвал Державина и спросил, как быть: посылать целиком или выбросить строфы, относящиеся к Потемкину? Постановили послать целиком, чтобы не возбуждать лишних подозрений. Тут только узнал Державин, какую огласку получили его стихи. Он поехал домой «с крайним прискорбием». Все это могло кончиться для него плохо.

Несколько месяцев ждал он последствий и томился неизвестностью. Меж тем к весне 1783 года княгиня Дашкова, будучи директором Академии наук, задумала издавать журнал. Козодавлев в ту пору при ней состоял советником. Опять ничего не сказав Державину, он принес Дашковой «Фелицу» — и 20 мая, в субботу, ода внезапно появилась в первой книжке «Собеседника любителей русского слова». Теперь она должна была дойти до императрицы. Державин жил в страшном волнении, не зная, чего ожидать. В день обеда у Вяземских приход почтальона разрешил все — страхи сменились великой радостью.

К тому, что писали о ней в стихах и в прозе, Екатерина была любопытна. Прежние похвалы Державина, в сущности более громкие и глубокие, нежели те, которые заключались в «Фелице», она, вероятно, тоже читала. Но они даже не запомнились — потонули в хоре привычной лестии. А над «Фелицей» она несколько раз принималась плакать. «Как дура, плачу», — сказала Дашковой. Почему же она была так растрогана?

Она не слишком любила стихи, не много в них понимала и самого вещества поэзии не чувствовала. Вопросы чистой поэзии не занимали ее. При всей любви к литературным упражнениям она не умела составить ни одного стиха и сама в том признавалась; даже легонькие куплеты для своих комедий заказывала другим. Чем выше парило стихотворение, чем было высокопарнее (вернем этому слову его прекрасный первоначальный смысл), тем слабее оно доходило до ее слуха, тем менее было способно затронуть в ней чувства.

«Фелица» должна была прийтись ей по вкусу и пониманию именно теми особыми свойствами, которые снижали это произведение как собственно оду: своей сатирической стороной, своим легким, шутливым тоном, своим бытовым, приближенным к обыденности материалом, наконец, самым слогом, который Державин так метко назвал «забавным», с его «низким» словарем и обильными заимствованиями из повседневной речи. Эти же качества вызвали бурный успех «Фелицы» и у большинства тогдашних читателей (в том числе у многих стихотворцев), и у потомства. Не должно, однако, смотреть на «Фелицу» как на преобразование оды. На самом деле то было не преобразование, а разрушение. Конечно, значение «Фелицы» в истории русской литературы огромно: с нее (или почти с нее) пошел русский реалистический жанр, этим она способствовала даже развитию русского романа. Но ода как таковая в ней не преобразована, потому что она сама переставала уже быть одой: да такой степени в ней нарушена одическая традиция русско-французского классицизма.

Но вернемся к Екатерине. Конечно, не литературными свойствами «Фелицы» были вызваны ее слезы: эти литературные свойства только открыли императрице доступ к пониманию оды, сняли печать со слуха.

Чувствительность не была ей чужда, знавала она и сильные увлечения. Случалось, что приступы горя или гнева овладевали ею, но при всем том здравый смысл покидал ее разве лишь на мгновения. В частности, она очень трезво и просто смотрела на собственную особу. Дальше всего она была от того, чтобы считать себя каким-нибудь сверхъестественным существом. Когда ее изображали богиней, она принимала это как должное, но не узнавала себя в этих изображениях. Шлем Минервы был ей велик, но одежды Фелицы пришлось как раз впору. Державин думал, что внешняя шутливость тут искупается внутренним благоговением. В глазах же Екатерины это было как раз такое изображение, которому она могла наконец поверить. То, что казалось Державину почти дерзостью с его стороны, нечаянно обернулось лестью, проникшей Екатерине в самое сердце. В «Фелице» она увидела себя прекрасной, добродетельной, мудрой, но и прекрасной, и мудрой, и добродетельной в пределах, человеку доступных. А сколько внимания было проявлено автором не только к ее государственным трудам, но и просто к привычкам, обычаям, склонностям, сколько подмечено верных и простых черт, даже обиходных мелочей и пристрастий! Словом, при всей идеальности портрет и на самом деле был очень схож. Екатерина считала, что безымянный автор разгадал ее всю — от больших добродетелей до маленьких слабостей. «Кто бы меня так хорошо знал?» — в слезах спрашивала она у Дашковой.

Даже такая в сущности мелочь, как выгодное сравнение с окружающими вельможами, доставила ей удовольствие. Это сравнение было вполне в ее духе: она не хотела быть выше сравнений. Она довольно суетливо принялась рассылать отписки

«Фелицы» Потемкину, Панину, Орлову — всем, кто задет был автором: императрица и самодержица всероссийская любила разыгрывать с приближенными забавные *witz'bi** в духе доброго старого анхальт-цербстского захолустья. Табакерка с червонцами, посланная «мурзе Державину» от имени киргизской царевны, конечно, принадлежала сюда же. Но она разом ставила Державина очень высоко, как бы, вводила его в круг людей, с которыми императрица шутит.

В тот майский вечер с табакеркой Фелицы в кармане Державин уходил от Вяземского новой знаменитостью. Последующие дни принесли ему такую шумную литературную славу, какой Россия до тех пор не видывала. В поэтическом отношении эта слава была бы справедливее, если бы последовала тотчас за стихами на смерть Мещерского. Но были общественные причины ей прийти именно теперь. Дух «Фелицы» стал духом «Собеседника». Журнал сделался прибежищем смелой общественной критики. Похвалы Екатерине в нем сочетались с острой полемикой по поводу таких предметов, о каких прежде молчали. Екатерина собственными писаниями тому способствовала, пока не пришлось ей полемику прекратить, ибо языки развязались слишком.

* * *

Екатерина любила давать прозвища. Вяземского она звала Брюзгой. Был он человек желчный. У него не было оснований заводить Державину, но его раздражало, зачем отличают Державина не через его посредство. Когда же отличие выпало за стихи, генерал-прокурор вышел из себя. После «Фелицы» он уже «равнодушно с новопрославившимся стихотворцем говорить не мог: привязываясь во всяком случае к нему, не только насмеялся, но и почти ругал, проповедуя, что стихотворцы не способны ни к какому делу». Следует, впрочем, и пожалеть его. Судьба была немилосердна к этому человеку, имевшему мужество ненавидеть поэзию открыто: чуть не все его подчиненные были стихотворцами.

Как ни упоен был Державин милостью императрицы, он по мере сил сдерживался, пока дело не шло дальше насмешек и происков, направленных лично против него. С Вяземским он то ссорился, то мирился (мирили по обыкновению жены). Коса все же нашла на камень, когда задеты были его гражданские чувства, его преданность делу и долгу.

В 1783 году была закончена последняя так называемая ревизия, которая ввиду увеличения оброка с казенных и частновладельческих крестьян должна была дать государству заметное повышение доходов. Полученные от губернаторов ведомости об ожидаемых поступлениях предстояло принять во внимание при составлении доходной табели на предстоящий год. Вдруг Вяземский, ссылаясь на неясность и неполноту этих новых ведомостей, потребовал, чтобы табель составили на основании старых. На деле это должно было привести к тому, что доходы будут показаны значительно ниже тех, которые поступят в действительности. Против такой утайки восстал Державин: он не мог допустить, чтобы государыня была обманута.

Замечательно, что поведение генерал-прокурора он себе объяснял довольно еще невинно. Предполагал он, во-первых, что Вяземский, воюя за власть с губернаторами, хочет под них подкопаться, изображая их нерадивость; во-вторых же — что Вяземский, зная расточительность Екатерины, скрывает от нее часть доходов, чтобы в подходящую минуту, «будто особым своим изобретением и радением», найти для нее лишние деньги и тем выслужиться. Державин не знал, что сокрытие доходов не Вяземским было придумано и практиковалось еще при Елизавете Петровне генерал-

* Шутки.— нем.

прокурором Глебовым ради обыкновенного воровства. Едва вступив на престол, Екатерина проверила счета и открыла целых двенадцать миллионов утайки. Вяземский был не доблестней своего предшественника.

Как бы то ни было, после тяжелых сцен с генерал-прокурором Державин забрал ведомости домой, сказался больным и через две недели представил собранию экспедиции новую, свою табель. Сколько ни придирались к ней, были вынуждены признать, что доходу может быть показано по крайней мере на восемь миллионов более, чем в прошлом году. «Нельзя изобразить, какая фурия представилась на лице начальника».

Победа все-таки обошлась Державину дорого. Дальнейшая служба при Вяземском стала невозможна, он подал в отставку и определением Сената был уволен в чине действительного статского советника. Конфирмуя доклад об его увольнении, императрица сказала Безбородке: «Скажите ему, что я его имею на замечании. Пусть теперь отдохнет, а как надобно будет, то я его позову». Всю историю с сокрытием доходов она знала в точности. О преследованиях, которым Державин подвергался со стороны Вяземского, Фонвизин прозрачно намекал на страницах «Собеседника», и смысл этих намеков, конечно, известен был государыне. Но Вяземский не услышал от нее ни одного упрека. Если б Державин надо всем этим задумался, он, может быть, уже теперь понял бы то, что ему пришлось понять много позже.

* * *

Был слух, что казанский губернатор уходит в отставку. Державин стал метить на его место. Предстояли об этом хлопоты, но Державин решил наперед, что поедет в Казань при всяком исходе: либо губернатором, либо просто отдохнуть и хозяйствовать года на два. Как раз в это время мать написала ему, что тяжело больна, не надеется выжить и просит приехать проститься с нею (шесть лет они не видались).

В феврале 1784 года, покуда стоял санный путь, Державин отправил в Казань весь домашний скарб, но сам с женой задержался еще в Петербурге. Губернаторство в общем было обещано, однако дело нужно было подталкивать. И вот посреди хлопот, стараний, подчас унижений и забеганий пред сильными сего мира стало его тревожить беспокойство вовсе иного рода.

Года четыре тому назад, во время пасхальной заутрени в Зимнем дворце, посетило его вдохновение. Приехав домой, он в горячности положил на бумагу первые строки оды:

*О Ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества,
Теченьем времени предвечный,
Без лиц, в трех лицах Божества!
Дух, всюду суций и единый...*

Но порыв миновал, мышцы душевные ослабели. Отвлекаемый службой и светскими суетами, сколько ни принимался он — продолжать не мог. Про себя постоянно, однако же, возвращался к начатой оде, в глубине памяти копил мысли и образы, то собственные, то извлеченные из чтений. За четыре года все это в нем наконец дозрело и стало проситься наружу. Теперь, на свободе, он опять взялся за перо, но все-таки суета житейская, городская мешала ему. Сердце хотело уединения, он решил бежать. Вдруг объявил жене, что едет осматривать белорусские свои земли, в которых никогда не был, хоть владел ими семь лет. Стояла самая распутица, о дальней дороге нечего было думать. Жена удивилась, но он ей не дал опомниться. Доскакал

до Нарвы, повозку и слуг бросил на постоялом дворе, снял захудалый покойчик у старой немки и заперся в нем.

Он писал, пока сон не валил его на постель, а проснувшись, вновь брался за работу. Старуха носила ему пищу. Он работал в таком же диком уединении, в таком же неистовом напряжении телесных и душевных сил, в каких Челлини отливал некогда своего Персея. Так продолжалось несколько дней.

То была вновь *высокая ода*. Державин сам с замиранием сердца ощущал высоту своего парения. Образы и слова он вновь громоздил, точно скалы, и, сталкивая звуки, сам упивался звуком их столкновений. Он написал немного — около ста строк всего. Из них не все сделаны из одинаково драгоценного материала, но все равновесны и одинаково наполнены. В этих стихах не трудно узнать автора «Читалагайских од». Но там все-таки был перед нами отчаянный подмастерье, работавший наугад, знавший замечательные удачи, но местами лишь портивший материал; теперь это полный мастер. Не трудно узнать в нем и лаконического автора оды «На смерть Мещерского». Но теперь его лаконизм перестал быть порывист и угловат. В «Боге» Державин привел в движение какие-то огромные массы; столь же огромна сила, на это затраченная, но ни единая частица ее не пропадает даром, и надсада, усилия мы нигде не видим. Таково на сей раз его господство над материалом, что с начала до конца все в оде движется стройно и плавно, несмотря на то что в процессе работы он постепенно отходит от первоначального замысла. Вдохновение владеет им, но материалом владеет он.

Его первою целью было вообразить величество Божие. Взор его устремлен был к Богу. Но по мере того как предмет ему открывался, его охватывало изумление перед собственной способностью к подобному постижению. Смотри на собственное отражение в оде, видел он отражение Бога в себе самом — и все более поражался:

*Ничто! — Но ты во мне сияешь
Величеством твоих доброт,
Во мне себя изображаешь,
Как солнце в малой капле вод.
Ничто! — Но жизнь я ощущаю,
Несытым некаким летаю
Всегда пареньем в высоты;
Тебя душа моя быть чает,
Вникает, мыслит, рассуждает:
Я есмь — конечно, есть и ты!*

*Ты есть! — Природы чин вещает,
Гласит, мое мне сердце то,
Меня мой разум уверяет:
Ты есть — и я уж не ничто!
Частица целой я вселенной,
Поставлен, мнится мне, в почтенной
Средине естества я той,
Где кончил тварей ты телесных,
Где начал ты духов небесных
И цепь существ связал всех мной.*

С этого стиха ода Богу стала одой божественному сыновству человека:

*Я связь миров повсюду сущих,
Я крайня степень вещества,
Я средоточие живущих,
Черта начальна божества;
Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю,
Я царь — я раб — я червь — я бог!
Но, будучи я столь чудесен,
Отколе произошел? — безвестен;
А сам собой я быть не мог.*

*Твое созданье я, создатель!
Твоей премудрости я тварь.
Источник жизни, благ податель,
Душа души моей и царь!
Твоей то правде нужно было,
Чтоб смертну бездну преходило
Мое бессмертно бытие;
Чтоб дух мой в смертность облачился
И чтоб чрез смерть я возвратился,
Отец! в бессмертие твое.*

Тут охватило его такое упоение величайшею гордостью и сладчайшим смирением, открытыми человеку, такое невыразимое счастье пребывания в Боге, что далее уж писать он не мог. Было то уже ночью, незадолго до рассвета. Силы его покинули, он уснул и увидел во сне, что блещет свет в глазах его. Он проснулся, и в самом деле воображение так было разгорячено, что казалось ему — вокруг стен бегают свет. И он заплакал от благодарности и любви к Богу. Он зажег масляную лампу и написал последнюю строфу, окончив тем, что в самом деле проливал благодарные слезы за те понятия, которые были ему даны:

*Неизъяснимый, непостижный!
Я знаю, что души моей
Воображении бессильны
И тени начертать твоей;
Но если славословить должно,
То слабым смертным невозможно
Тебя ничем иным почтить,
Как им к тебе лишь возвышаться,
В безмерной разности теряться
И благодарны слезы лить.*

Когда он кончил, был день.

